

Сказка Гофмана Крошка Цахес, по прозванию Циннобер

[назад](#)

продолжение (главы 3–4)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Как Фабиан не знал, что ему и сказать. Кандида и девицы, которым не дозволено есть рыбу. - Литературное чаепитие у Моша Терпина. - Юный принц.

Бросившись по тропинке, пересекавшей лес, Фабиан думал опередить умчавшегося от него диковинного малыша. Но он ошибся. Выйдя на опушку, он увидел, как вдалеке к малышу присоединился другой всадник, статный с виду, и оба уже въезжали в ворота Керепеса. "Гм! – обратился Фабиан к самому себе, – хотя этот щелкунчик и обогнал меня на большой лошади, я все же поспею к заварушке, что подымется по его приезде. Ежели этот странный малый и в самом деле студиозус, то ему укажут на "Крылатого коня", а ежели он там остановится да с тем же пронзительным "тпру–тпру!" скинет ботфорты и сам слетит за ними, да озлится и взъерепенится, когда студенты покатаются со смеху, – ну, тут и пойдет потеха!"

Входя в город, Фабиан полагал, что на всех улицах по пути к "Крылатому коню" он услышит только смех. Не тут–то было! Все проходили мимо спокойно и серьезно. Столь же серьезно прогуливались, рассуждая друг с другом, студенты, собирающиеся, по обыкновению, на площади перед "Крылатым конем".

Фабиан был уверен, что малыш, по крайней мере, здесь еще не появлялся, но, заглянув в ворота гостиницы, заметил, что в конюшню ведут лошадь малыша, которую было очень легко узнать. Он бросился к первому попавшемуся знакомцу и спросил, не проезжал ли тут, часом, некий странный и весьма диковинный человечек. Тот, к кому обратился Фабиан, ничего не знал, равно как и все остальные, кому только ни рассказывал Фабиан, что приключилось у него с малышом, который выдавал себя за студента. Все смеялись до упаду, но уверяли, что никакого такого странного малого, схожего с тем, как он описывает, здесь не объявлялось. Правда, минут за десять перед тем в гостиницу "Крылатый конь" прибыли два статных всадника на прекрасных лошадях.

– А не сидел ли один из них на той лошади, что сейчас провели на конюшню? – спросил Фабиан.

– Разумеется, – отвечал один из спрошенных, – разумеется. Тот, что прибыл на этой лошади, правда маловат ростом, однако хорошо сложен, приятен лицом, и у него самые прекрасные вьющиеся волосы, какие только бывают на свете. Притом он показал себя превосходным наездником, ибо спешил с такой ловкостью, с таким достоинством, словно первый шталмейстер нашего князя.

– И не потерял ботфорт? – воскликнул Фабиан. – И не покатился вам под ноги?

– Сохрани бог! – отвечали все в один голос. – Сохрани бог! С чего это ты, брат, взял? Такой умелый ездок, как малыш!

Фабиан не знал, что и молвить. Тут на улице появился Бальтазар. Фабиан бросился к нему, потащил за собой и рассказал, что маленький карапуз, который повстречался им неподалеку от городских ворот и свалился с лошади, только что прибыл сюда, и все приняли его за красивого, статного мужчину и превосходного наездника.

– Вот видишь, – серьезно и рассудительно отвечал Бальтазар, – вот видишь, любезный брат, не все, подобно тебе, столь жестоко насмеются над несчастным, обделенным самой природой!

– Ах, боже ты мой! – перебил его Фабиан. – Да ведь тут речь идет не о насмешке и жестокосердии, а о том, можно ли назвать красивым и статным мужчиной малыша в три фута ростом, к тому же не лишенного сходства с редькой?

Бальтазар был принужден подтвердить слова Фабиана относительно роста и наружности маленького студента. Остальные стояли на том, что маленький всадник – красивый, стройный мужчина, тогда как Фабиан и Бальтазар продолжали уверять, что им никогда не доводилось видеть более отвратительного карлика. Тем дело и кончилось, и все разошлись весьма озадаченные.

Давно смерклось, когда оба друга отправились домой. Вдруг Бальтазар, сам не зная как, проговорился, что он повстречался с профессором Мошем Терпином и тот пригласил его к себе на завтрашний вечер.

– Вот счастливец! – вскричал Фабиан. – Вот несчастливейший человек! Там ты увидишь и услышишь свою красотку, прелестную мамзель Кандиду, будешь с нею разговаривать!

Бальтазар, снова глубоко оскорбленный, бросился в сторону и хотел удалиться. Однако одумался, остановился и, с трудом поборов досаду, сказал:

– Должно быть, ты прав, любезный брат, когда считаешь меня безрассудным влюбленным шутом, я, пожалуй, и впрямь таков. Но это безрассудство – глубокая болезненная рана, томящая дух мой, и тот, кто неосторожно прикоснется к ней, может, причинив жестокую боль, побудить меня ко всяческим дурачествам. Поэтому, брат, ежели ты меня вправду любишь, то не произноси при мне имени Кандиды.

– Ты опять, – возразил Фабиан, – ты опять смотришь на вещи ужасно трагически, и в твоем состоянии от тебя иного и ожидать нельзя. Но, чтоб не заводить с тобой мерзкой распри, обещаю, что уста мои не вымолвят имя Кандиды, пока ты сам не подашь к тому повода. Дозволь только мне еще сказать, что, как я предвижу, твоя влюбленность доставит тебе немалую досаду. Кандида – премиленькая, славная девушка, но она никак не подходит к меланхолическому, мечтательному складу твоей души. Познакомишься ты с ней покороче, и ее непринужденный, веселый нрав покажется тебе чуждым поэзии, которой тебе всюду недостает. Ты предашься диковинным мечтаньям, и все кончится большим переполохом – ужасной воображаемой мукой и приливающим сему отчаянием. Впрочем, я, равно как и ты, приглашен на завтра к нашему профессору, который займет нас весьма интересными физическими опытами. Ну! Спокойной ночи, удивительный мечтатель! Спи, ежели сможешь заснуть перед столь знаменательным днем, как завтрашний.

С этими словами Фабиан оставил своего друга, погруженного в глубокую задумчивость. Фабиан, пожалуй, не без основания предвидел всякого рода патетические злоключения, которые могут претерпеть Кандида и Бальтазар, ибо нрав и склад души обоих, казалось, и в самом деле подавали достаточный к тому повод.

У Кандиды были лучистые, пронизывающие сердце глаза и чуть–чуть припухлые алые губы, и она – с этим принужден согласиться всякий – была писаная красавица. Я не припомню, белокурыми или каштановыми следовало бы назвать прекрасные ее волосы, которые она умела так причудливо укладывать, заплетая в дивные косы, – мне лишь весьма памятна их странная особенность: чем дольше на них смотришь, тем темнее и темнее они становятся. Это была высокая, стройная, легкая в движениях девушка, воплощенная грация и приветливость, в особенности когда ее окружало оживленное общество; при стольких прелестях ей весьма охотно прощали то обстоятельство, что ее ручки и ножки могли бы, пожалуй, быть и поменьше и поизящней. Притом Кандида прочла гетевского "Вильгельма Мейстера", стихотворения Шиллера и "Волшебное кольцо" Фуке и успела позабыть почти все, о чем там говорилось; весьма сносно играла на фортепьянах и даже иногда подпевала; танцевала новейшие гавоты и французские кадрили и почерком весьма разборчивым и тонким записывала белье, назначенное в стирку. А если уж непременно надо выискать у этой милой девушки недостатки, то, пожалуй, можно было не одобрить ее грубоватый голос, то, что она слишком туго затягивалась, слишком долго радовалась новой шляпке и съедала за чаем слишком много пирожного. Непомерно восторженным поэтам еще многое в прелестной Кандиде пришлось бы не по сердцу, но чего они только не требуют! Прежде всего они хотят, чтоб от всего, что они ни изрекут, девица приходила в сомнамбулический восторг, глубоко вздыхала, закатывала глаза, а иногда на короткое время падала в обморок или даже лишалась зрения, что являет собой уже высшую ступень женственности. Далее помянутой девице полагается распевать песни, сложенные поэтом, причем мелодия должна сама родиться в ее сердце, после чего ей (то бишь девице) надлежит внезапно занемочь, и тоже начать писать стихи, однако весьма стыдиться, когда это выйдет наружу, невзирая на то что она сама, переписав их нежным почерком на тонко надушенной бумаге, вручит поэту, который своим чередом также занеможет от восторга, что ему, впрочем, никак нельзя вменить в вину. Есть на свете поэтические аскеты, которые заходят еще дальше и полагают, что если девушка смеется, ест, пьет и мило одевается по моде, то это противно всякой нежной женственности. Они почти уподобляются святому Иерониму, который запрещает девушкам есть рыбу и носить серги. Им надлежит, так велит святой, вкушать лишь малую толику чуть приправленной травы, непрестанно быть голодными, не чувствуя голода, облекаться в грубые, худо сшитые одежды, которые скрывали бы их стан, и прежде всего избрать себе в спутницы особу серьезную, бледную, унылую и несколько неопрятную.

Веселость и непринужденность вошли в плоть и кровь Кандиды, и потому ей более всего по душе были беседы, пролетавшие на легких,

Сказка загружена с сайта allskazki.ru для ознакомительных целей

воздушных крыльях беззлобного юмора. Она покатывалась со смеху при всем, что ее сместило; она никогда не вздыхала, разве только непогода помешает задуманной прогулке или, невзирая на все предосторожности, на новую шаль сядет пятно. Но, когда был для того подлинный повод, в ней проглядывало и глубокое, искреннее чувство, никогда не переходившее в пошлую чувствительность, и нам с тобой, любезный читатель, людям отнюдь не восторженным, эта девушка как раз пришлась бы по сердцу. Но с Бальтазаром дело легко могло обернуться иначе. Однако мы вскорости увидим, насколько правильны были предсказания прозаического Фабиана.

То, что Бальтазар от непрестанного волнения, от несказанного сладостного трепета не мог всю ночь сомкнуть глаз, было вполне естественно. Весь поглощенный образом возлюбленной, он сел к столу и сочинил изрядное число приятных, благозвучных стихов, описав собственное свое состояние в мистическом рассказе о любви соловья к алой розе. Он решил взять с собой эти стихи на литературное чаепитие у Моша Терпина и, как только представится случай, атаковать ими беззащитное сердце Кандиды.

Фабиан чуть усмехнулся, когда к назначенному часу по уговору зашел за своим другом и застал его таким разряженным, каким еще не доводилось видеть. На нем был зубчатый воротник из тончайших брюссельских кружев, короткий камзол рубчатого бархата с прорезанными рукавами. Притом он был во французских сапожках с высокими острыми каблуками и серебряной бахромой, в английской шляпе тончайшего кастора и в датских перчатках. Итак, он был одет совсем по-немецки, и наряд этот чрезвычайно шел к нему, тем более что он прекрасно завил волосы и расчесал маленькие усики.

Сердце Бальтазара затрепетало от восторга, когда в доме Моша Терпина навстречу ему вышла Кандида в полном одеянии древнегерманской девы; приветливость и веселость были в ее взоре, словах, во всем ее существе, как, впрочем, и всегда. "Прелестная дева!" – испустил томный вздох Бальтазар, когда Кандида, сама сладчайшая Кандида, преподнесла ему чашку дымящегося чая. Но Кандида взглянула на него лучистыми глазами и молвила:

– Вот ром и мараскин, сухари и пумперникель, сделайте одолжение, любезный господин Бальтазар, берите, что вам угодно.

Но, вместо того чтобы взглянуть на ром и мараскин, сухари и пумперникель, а то и приняться за них, восторженный Бальтазар не мог отвести взора, полного искренней любви и мучительного томления, от прелестной девы и тщился найти слова, которые должны были выразить все, что в это мгновение чувствовал он в глубине души. Но тут сзади его облапил профессор эстетики – дюжий, здоровенный мужчина – и, повернув его лицом к себе, так что Бальтазар расплескал больше чая, чем позволяло приличие, взревел громоподобным голосом:

– Дражайший Лукас Кранах! Не хлещите презренную воду, вы вконец сгубите ваш германский желудок, – наш доблестный Мош выставил в той зале батарею прекрасных бутылок с благородным рейнвейном; сейчас мы с ними сразимся! – И он потащил за собой несчастного юношу.

Но из соседней комнаты навстречу им, ведя за руку маленького, весьма диковинного человечка, вышел профессор Мош Терпин и громко возвестил:

– Милостивейшие государины и милостивейшие государи, позвольте представить вам одаренного редчайшими способностями юношу, которому не составит труда снискать вашу приязнь и расположение. Этот молодой человек, господин Циннобер, только вчера прибыл в наш университет, где предполагает изучать право!

Фабиан и Бальтазар с первого взгляда узнали диковинного карапуза, который наехал на них неподалеку от городских ворот и свалился с лошади.

– Неужто мне, – шепнул Фабиан Бальтазару, – неужто мне придется теперь вызвать этого альрауна драться на духовых дудках или на сапожных шилах? Я ведь не могу употребить другое оружие против столь ужасного противника.

– Стыдись, – отвечал Бальтазар, – стыдись, ты глумишься над несчастным калекой, который, как ты слышал, одарен редчайшими способностями, так что телесные преимущества, в коих ему отказала природа, вознаграждены умственными достоинствами. – Тут он обратился к малышу и сказал:

– Надеюсь, любезнейший господин Циннобер, вчерашнее ваше падение с лошади не возымело дурных последствий?

Циннобер оперся на маленькую тросточку, которую держал за спиной в руке, привстал на цыпочки, так что пришелся Бальтазару почти по пояс, запрокинул голову, уставившись на него дико сверкающими глазами, и странным, сиплым басом ответил:

– Не знаю, что вам угодно, сударь, о чем вы говорите? Упал с лошади? Я упал с лошади? Вам, верно, неизвестно, что во всем свете не сыскать лучшего наездника, чем я, что я никогда не падал с лошади, что я служил волонтером в кирасирах, проделал с ними поход и обучал в манеже верховой езде офицеров и солдат. Гм! Гм! "Упал с лошади"! Я упал с лошади? – Тут он хотел круто повернуться, но тросточка, на которую он опирался, выскользнула у него из рук, и малыш закувыркался у ног Бальтазара.

Бальтазар стал шарить внизу рукой, чтобы помочь малышу подняться, но ненароком прикоснулся к его голове. Тут малыш испустил пронзительный крик, отозвавшийся во всей зале, так что гости в испуге повскакали с мест.

Бальтазара окружили и наперебой стали расспрашивать, чего это он, ради самого неба, закричал столь ужасно.

– Не прогневайтесь, любезнейший господин Бальтазар, – обратился к нему профессор Мош Терпин. – Все же это довольно странная шутка.

Вы, верно, хотели, чтобы мы подумали, что здесь кто-то наступил на хвост кошке.

– Кошка, кошка! Уберите кошку! – завопила какая-то слабонервная дама и тотчас упала в обморок.

С криками: "Кошка, кошка!" – бросились к выходу два престарелых господина, страдавших той же идиосинкразией.

Кандида, вылившая весь свой нюхательный флакон на упавшую в обморок даму, тихо заметила Бальтазару:

– Каких бед натворили вы, господин Бальтазар, своим мерзким пронзительным мяуканьем!

Бальтазар не мог понять, что с ним творится. Лицо его пылало от стыда и досады, он был не в силах вымолвить ни единого слова, сказать, что ведь замаякал так ужасно не он, а маленький господин Циннобер.

Профессор Мош Терпин заметил тягостное замешательство юноши. Он подошел к нему и дружески сказал:

– Ну, дорогой господин Бальтазар, ну, успокойтесь, наконец! Я ведь отлично все видел. Пригнувшись к земле, прыгая на четвереньках, вы бесподобно подражали рассерженному злобному коту. Я и сам люблю подобные шутки из естественной истории, но здесь, во время литературного чаепития...

– Позвольте, – сорвалось наконец с языка Бальтазара, – позвольте, почтеннейший господин профессор, так ведь то был не я!

– Ну, хорошо, хорошо! – перебил его профессор.

К ним подошла Кандида.

– Утешь, – обратился к ней Мош Терпин, – утешь, пожалуйста, любезнейшего Бальтазара, он совсем подавлен приключившейся тут сумятицей.

Доброй Кандиде от всего сердца было жаль бедного Бальтазара, который, потупив взор, стоял перед ней в совершенном замешательстве.

Она протянула ему руку и, приветливо улыбаясь, прошептала:

– Какие, право, смешные бывают люди, что так боятся кошек.

Бальтазар с великой горячностью прижал руку Кандиды к губам. Исполненный чувства взор ее небесных очей покоился на нем. Бальтазар был в несказанном восторге и не помышлял более о Циннобере и кошачьем визге.

Суматоха улеглась, спокойствие было восстановлено. У чайного столика сидела слабонервная дама и наслаждалась сухариками, макая их в ром и уверяя, что это подкрепляет ее душу, коей угрожают враждебные силы, так что внезапный испуг сменяется томной надеждой. Также два престарелых господина, которым на улице и в самом деле попался под ноги прыткий кот, возвратились успокоенные и засели, равно как и многие другие, за карточный стол. Бальтазар, Фабиан, профессор эстетики и несколько молодых людей подсели к дамам. Господин Циннобер тем временем пододвинул скамеечку и с помощью ее взобрался на диван, где уселся между двумя дамами, обводя всех горделивым, сверкающим взором.

Бальтазар решил, что ему пора выступить со своими стихами о любви соловья к алой розе. Поэтому он с приличествующей скромностью, которая в обычае у молодых поэтов, объявил, что, если бы он не боялся наскучить и причинить досаду, если бы он смел надеяться на благосклонную снисходительность почтенного собрания, он бы отважился прочитать стихи – последнее творение своей музы. И так как дамы уже вдосталь наговорились обо всем, что случилось нового в городе, и так как девицы надлежащим образом обсудили последний бал у президента и даже пришли к некоторому согласию насчет новейшего фасона шляпок, а мужчины еще добрых два часа не могли рассчитывать на новое угощение и выпивку, то все в один голос стали упрашивать Бальтазара не лишать общество столь божественного отдохновения.

Бальтазар вынул тщательно перебеленную рукопись и принялся читать. Собственные стихи, со всей силой, со всей живостью возникшие из подлинного поэтического чувства, все сильнее воодушевляли его. Чтение его все более проникалось страстью, обнаруживая весь пыл любящего сердца. Он трепетал от восторга, когда тихие вздохи, еле слышные "ах" женщин и восклицания мужчин: "Великолепно, превосходно, божественно!" – убеждали его в том, что стихи увлекли всех. Наконец он кончил. Тут все вскричали:

– Какое творение! Сколько мысли! Сколько фантазии! Какие стихи! Какое благозвучие! Благодарим, благодарим, любезный господин Циннобер, за божественное наслаждение!

– Как? Что? – вскричал Бальтазар, но на него никто не обратил внимания, – все устремились к Цинноберу, который, сидя на диване,

Сказка загружена с сайта allskazki.ru для ознакомительных целей

заважничал, словно индюк, и противно сипел:

– Покорно благодарю, покорно благодарю, не взыщите. Это безделица, я набросал ее наскоро прошедшей ночью.

Но профессор эстетики вопил:

– Дивный, божественный Циннобер! Сердечный друг, после меня ты – первейший поэт на свете! Приди в мои объятия, прекрасная душа! – И он сгреб малыша с дивана, поднял его на воздух, стал прижимать к сердцу и целовать. Циннобер при этом вел себя весьма непристойно. Он дубасил маленькими ножонками по толстому животу профессора и пищал:

– Пусти меня, пусти меня! Мне больно, больно, больно! Я выцарапаю тебе глаза, я прокушу тебе нос!

– Нет! – вскричал профессор, опуская малыша на диван. – Нет, милый друг, к чему такая чрезмерная скромность.

Мош Терпин, оставив карточный стол, тоже подошел к ним, пожал крошечную ручку Циннобера и сказал очень серьезно:

– Прекрасно, молодой человек, – отнюдь не преувеличивая, нет, мало нарасказали мне об одухотворяющем вас высоком гении.

– Кто из вас, – снова закричал в полном восторге профессор эстетики, – кто из вас, о девы, наградит поцелуем дивного Циннобера за стихи, в коих выражено сокровеннейшее чувство самой сильной любви?

Кандида встала, – щеки ее пылали, – она приблизилась к малышу, опустилась на колени и поцеловала его мерзкий рот, прямо в синие губы.

– Да, – вскричал Бальтазар, словно пораженный внезапным безумием, – да, Циннобер, божественный Циннобер, ты сложил меланхолические стихи о соловье и алой розе, и ты заслужил дивную награду, тобой полученную!

С этими словами он увлек Фабиана в соседнюю комнату и проговорил:

– Сделай одолжение, посмотри на меня хорошенько и скажи мне откровенно и по совести, в самом ли деле я студент Бальтазар, или нет, впрямь ли ты Фабиан, верно ли, что мы в доме Моша Терпина, – или это сон, или мы посходили с ума? Потяни меня за нос или встряхни, чтоб я избавился от этого проклятого наваждения.

– Ну, как это ты можешь, – возразил Фабиан, – ну, как это ты можешь так бесноваться из простой ревности, оттого что Кандида поцеловала малыша. Тебе все же надобно признать, что стихотворение, которое прочитал малыш, и в самом деле превосходно.

– Фабиан, – в глубочайшем изумлении вскричал Бальтазар, – что ты говоришь?

– В самом деле, – продолжал Фабиан, – в самом деле стихотворение малыша было превосходно, и я нахожу, что он заслужил поцелуй Кандиды. Вообще мне сдается, в нем кроется много такого, что дороже красивой наружности. Даже его фигура уже не кажется мне столь отвратительной, как сперва. Во время чтения стихов внутреннее воодушевление скрасило черты его лица, так что он подчас казался мне привлекательным, стройным юношей, невзирая на то что его голова чуть виднелась из-за стола. Оставь свою вздорную ревность и подружись с ним как поэт с поэтом.

– Что? – вскричал в гневе Бальтазар. – Что? Мне еще подружиться с проклятым оборотнем, которого я охотно задушил бы вот этими руками!

– Итак, – сказал Фабиан, – итак, ты совсем глух к голосу разума. Однако ж возвратимся в залу: там, верно, случилось что-нибудь новое, я слышу громкие похвалы!

Бальтазар машинально последовал за своим другом. Когда они вошли, посреди залы одиноко стоял Мош Терпин, в руках у него еще были инструменты, с помощью которых он, по-видимому, производил какой-то физический опыт; лицо его хранило величайшее изумление. Все общество столпилось вокруг маленького Циннобера. Опершись на трость, он стоял на цыпочках и с гордым видом принимал похвалы, сыпавшиеся со всех сторон. Но вот все опять обратились к профессору, который показывал новый весьма искусный фокус. Едва он кончил, как все снова окружили малыша, восклицая:

– Великолепно, превосходно, милейший господин Циннобер!

Наконец и Мош Терпин подскочил к малышу и громче всех завопил:

– Великолепно, превосходно, милейший господин Циннобер!

Среди гостей был и юный принц Грегор, обучавшийся в университете. Принц был наделен приятнейшей внешностью, какую только можно себе представить, и притом в его обращении было столько благородства и непринужденности, что явственно сказывалось и высокое происхождение, и привычка вращаться в высшем свете. Принц Грегор ни на одно мгновение не отходил от Циннобера и расточал ему непомерные похвалы как превосходнейшему поэту и искуснейшему физику. Странное зрелище являли они друг подле друга.

Рядом со статным Грегором совсем диковинным казался этот крошечный человечек, который, высоко задрав нос, сам едва держался на тоненьких ножках. Однако взоры всех женщин были устремлены не на принца, а на малыша, который беспрестанно подымался на цыпочки и тут же снова опускался, весьма напоминая этим картезианского чертика.

Профессор Мош Терпин подошел к Бальтазару и сказал:

– Ну, что вы скажете о моем протеже, о моем любезном Циннобере? В нем много кроется, и когда я на него погляжу хорошенько, то угадываю, какое, собственно, тут замешано обстоятельство. Пастор, который вырастил его и рекомендовал мне, весьма таинственно говорит о его происхождении. Но поглядите только на его достойную осанку, на его благородное, непринужденное обращение. Он, нет сомнения, княжеской крови, быть может, даже принц.

В эту минуту доложили, что готов ужин. Циннобер, неуклюже ковыляя, подошел к Кандиде, неловко схватил ее за руку и повел к столу. Непроглядной ночью, сквозь дождь и бурю, в бешенстве бежал несчастный Бальтазар домой.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Как итальянский скрипач Сбьокка грозил засунуть господина Циннобера в контрабас, а референдарий Пульхер не смог попасть в министерство иностранных дел. - О таможенных чиновниках и конфискованных чудесах для домашнего обихода. - Бальтазар заколдован с помощью набалдашника.

На мшистом камне в самой глуши леса сидел Бальтазар и задумчиво смотрел вниз в расселину, где ручей, пенясь, бурлил меж обломков скал и густых зарослей. Темные тучи неслись по небу и скрывались за горами; шум воды и деревьев раздавался как глухой стон, к нему примешивались пронзительные крики хищных птиц, которые подымались из темной чащи в небесные просторы и летели вслед убегающим облакам.

Бальтазару казалось, будто в чудесных лесных голосах слышится безутешная жалоба природы, словно сам он должен раствориться в этой жалобе, словно все бытие его – только чувство глубочайшего непреодолимого страдания. Сердце его разрывалось от скорби, и когда частые слезы застилали его глаза, чудилось, будто духи лесного ручья смотрят на него и простирают к нему из волн белоснежные руки, чтобы увлечь его в прохладную глубину.

Вдруг вдалеке послышались веселые, звонкие звуки рожка; они принесли утешение его душе и пробудили в нем страстное томление, а вместе с тем и сладостную надежду. Он огляделся вокруг, и, пока доносились звуки рожка, зеленые тени леса не казались ему столь печальными, ропот ветра и шепот кустов столь жалобными. Он обрел дар речи.

– Нет! воскликнул он, вскочив на ноги и устремив сверкающий взор вдаль; – нет, не вся надежда исчезла! Верно только, что какая-то темная тайна, какие-то злые чары нарушили мою жизнь, но я сломя эти чары, даже если мне придется погибнуть! Когда я, увлеченный, побежденный чувством, от которого готова была разорваться моя грудь, признался прелестной, несравненной Кандиде в моей любви, разве не прочел я в ее взоре, разве не почувствовал в пожатии ее руки свое блаженство? Но стоит появиться этому маленькому чудищу, как вся любовь обращается к нему. На него, на этого проклятого выродка, устремлены очи Кандиды, и томные вздохи вырываются из ее груди, когда неуклюжий урод приближается к ней или берет ее руку. Тут, должно быть, скрыто какое-то таинственное обстоятельство, и, если бы я верил нянюшкиным сказкам, я бы стал уверять всех, что малыш заколдован и может, как говорится, наводить на людей порчу. Какое сумасбродство – все смеются и потешаются над уродливым человеком, обделенным самой природой, а стоит малышу появиться, – все начинают превозносить его как умнейшего, учнейшего, наикрасивейшего господина студента среди всех присутствующих.

Да что я говорю! Разве со мной подчас не происходит почти то же самое, разве не кажется мне порой, что Циннобер и красив и разумен? Только в присутствии Кандиды я не подвластен этим чарам, и господин Циннобер остается глупым мерзким уродцем. Но что бы там ни было, я воспротивлюсь вражьей силе, в моей душе дремлет неясное предчувствие, что какая-нибудь нечаянность вложит мне в руки оружие против этого чертова отродья!

Бальтазар отправился назад в Керепес. Бредя по лесной тропинке, заметил он на проезжей дороге маленькую, нагруженную кладью повозку, из оной которой кто-то приветливо махал ему белым платком. Он подошел поближе и узнал господина Винченцо Сбьокка, всесветно прославленного скрипача-виртуоза, которого он чрезвычайно высоко ценил за его превосходную, выразительную игру и у кого он уже два года, как брал уроки.

– Вот хорошо! – вскричал Сбьокка, выскочив из повозки. – Вот хорошо, любезный господин Бальтазар, мой дорогой друг и ученик, что я еще

Сказка загружена с сайта allskazki.ru для ознакомительных целей

повстречал вас и могу сердечно проститься с вами.

–Как? – удивился Бальтазар. – Как, господин Сбюкка, неужто вы покидаете Керепес, где вас так почитают и уважают и где всем вас будет недоставать?

– Да, – отвечал Сбюкка, и вся кровь бросилась ему в лицо от скрытого гнева, – да, господин Бальтазар, я покидаю город, где все спятили, город, который подобен дому умалишенных. Вчера вы не были в моем концерте, вы прогуливались за городом, а то бы вы помогли мне защититься от беснующейся толпы, что набросилась на меня.

– Да что же случилось? Скажите, бога ради, что случилось? – вскричал Бальтазар.

– Я играю, – продолжал Сбюкка, – труднейший концерт Виотти. Это моя гордость, моя отрада. Вы ведь слышали, как я его играю, и еще ни разу не случалось, чтоб он не привел вас в восторг. А вчера, могу сказать, я был в необыкновенно счастливом расположении духа – *anima*, разумею я, весел сердцем – *spirito alato*, разумею я. Ни один скрипач во всем свете, будь то хоть сам Виотти, не сыграл бы лучше. Когда я кончил, раздались яростные рукоплескания – *furore*, разумею я, чего я и ожидал. Взяв скрипку под мышку, я выступил вперед, чтобы учтиво поблагодарить публику. Но что я вижу, что я слышу? Все до единого, не обращая на меня ни малейшего внимания, столпились в одном углу залы и кричат: "Bravo, bravissimo, божественный Циннобер! Какая игра! Какая позиция, какое искусство!" Я бросаюсь в толпу, проталкиваюсь вперед. Там стоит отвратительный уродец в три фута ростом и мерзким голосом гнусавит: "Покорно благодарю, покорно благодарю, играл как мог, правда, теперь я сильнейший скрипач во всей Европе, да и в прочих известных нам частях света". – "Тысяча чертей! – воскликнул я. – Кто же наконец играл: я или тот червяк!" И так как малыш все еще гнусавил: "Покорно благодарю, покорно благодарю", – я кинулся к нему, чтобы наложить на него всю аппликатуру. Но тут все бросаются на меня и мелют всякий вздор о зависти, ревности и недоброжелательстве. Между тем кто-то завопил: "А какая композиция!" И все наперебой начинают кричать: "Какая композиция!" Божественный Циннобер! Вдохновенный композитор!" С еще большей досадой я вскричал: "Неужто здесь все посходили с ума, стали одержимыми? Этот концерт сочинил Виотти, а играл его я, я – прославленный скрипач Винченцо Сбюкка!" Но тут они меня хватают и говорят об итальянском бешенстве – *rabbia*, разумею я, о странных случаях, наконец силой выводят меня в соседнюю комнату, обходятся со мной как с больным, как с умалишенным. Короткое время спустя ко мне вбегают синьора Брагацци и падает в обморок. С ней приключилось то же, что и со мной. Едва она кончила арию, как всю залу потрясли крики: "Bravo, bravissimo, Циннобер!" И все вопили, что во всем свете не сыскать такой певицы, как Циннобер, а он опять загнусавил свое проклятое "благодарю". Синьора Брагацци лежит в горячке и скоро помрет, а я спасаюсь бегством от этого обезумевшего народа. Прощайте, любезнейший господин Бальтазар. Если доведется вам увидеть синьорино Циннобера, то передайте ему, пожалуйста, чтобы он не показывался ни на одном концерте вместе со мной. А не то я непременно схвачу его за паучьи ножки и засуну через отверстие в контрабас, – пусть он там всю жизнь разыгрывает концерты и распевает арии сколько душе угодно. Прощайте, дорогой мой Бальтазар, да смотрите не оставляйте скрипку! – С этими словами господин Винченцо Сбюкка обнял оцепеневшего от изумления Бальтазара и сел в повозку, которая быстро укатила.

"Ну, разве не был я прав, – рассуждал сам с собою Бальтазар, – ну, разве не был я прав, полагая, что этот зловещий карлик, этот Циннобер, заколдован и может наводить на людей порчу". В эту минуту мимо него стремительно пробежал молодой человек, бледный, расстроенный, – безумие и отчаяние написано было на его лице. У Бальтазара стало тревожно на сердце. Ему показалось, что в этом юноше он узнал одного из своих друзей, и потому он поспешно бросился за ним в лес. Пробежав шагов двадцать-тридцать, он завидел референдария Пульхера, который стоял под высоким деревом и, возведя взоры к небу, говорил:

– Нет! Нельзя долее сносить этот позор! Надежды всей жизни пропали! Осталась лишь могила. Прости, жизнь, мир, надежда, любимая!

И с этими словами впавший в отчаяние референдарий выхватил из-за пазухи пистолет и приставил его ко лбу.

Бальтазар с быстротой молнии кинулся к референдария, вырвал у него из рук пистолет, отбросил его далеко в сторону и воскликнул:

– Пульхер, ради бога, что с тобой, что ты делаешь?

Референдарий несколько минут не мог опомниться. В полубеспамятстве опустил он на траву. Бальтазар подсел к нему и стал говорить различные утешительные слова, какие только приходили ему на ум, ничего не зная о причине отчаяния Пульхера.

Бессчетное число раз спрашивал его Бальтазар, что же такое страшное приключилось с ним, что навело его на черные мысли о самоубийстве? Наконец Пульхер тяжело вздохнул и заговорил:

– Тебе, любезный друг Бальтазар, известно, в каких стесненных обстоятельствах я нахожусь. Ты знаешь, что я возлагал все надежды на то, что займу вакантное место тайного экспедитора в министерстве иностранных дел; ты знаешь, с каким усердием, с каким прилежанием готовился я к этой должности. Я представил свои сочинения, которые, как я с радостью узнал, заслужили совершенное одобрение министра. С какой уверенностью предстал я сегодня поутру к устному испытанию! В зале я приметил маленького уродливого человека, который тебе хорошо известен под именем господина Циннобера. Советник, которому было поручено произвести испытание, приветливо подошел ко мне и сказал, что ту же самую должность, какую желаю получить я, ищет заступить также господин Циннобер, потому он будет экзаменовать нас обоих. Затем он шепнул мне на ухо: "Вам, любезный референдарий, нечего опасаться вашего соперника; работы, которые представил маленький Циннобер, из рук вон плохи". Испытание началось; я ответил на все вопросы советника. Циннобер ничего не знал, ровным счетом ничего, вместо ответа он сипел и квакал и нес какую-то невнятную околесицу, которую никто не мог разобрать, и так как при этом он непристойно корячился и дрыгал ногами, то несколько раз падал с высокого стула, так что мне приходилось его подымать и сажать на место. Сердце мое трепетало от радости; благосклонные взоры, которые советник бросал на малыша, я принимал за самую едкую иронию. Испытание окончилось. Но что опишет мой ужас! Словно внезапная молния повергла меня наземь, когда советник обнял малыша и сказал, обращаясь к нему: "Чудеснейший человек! Какие познания! Какой ум! Какая пронизательность! – И потом ко мне: – Вы жестоко обманули меня, господин референдарий Пульхер. Вы ведь совсем ничего не знаете. И, не в обиду вам будь сказано, во время экзамена вы хотели придать себе бодрости весьма недостойным образом и против всякого приличия. Вы даже не могли удержаться на стуле и все время падали, а господин Циннобер был принужден подымать вас. Дипломаты должны быть безукоризненно трезвы и рассудительны. Adieu, господин референдарий". Я все еще полагал, что меня морочат. Я решил пойти к министру. Он велел мне передать, что не понимает, как это я, выказав себя таким образом на экзамене, еще осмелился утруждать его своим посещением, – ему уже обо всем известно! Должность, которой я добивался, уже отдана господину Цинноберу! Итак, какая-то адская сила похитила у меня все надежды, и я хочу добровольно принести в жертву свою жизнь, которая стала добычей темного рока! Оставь меня!

– Ни за что! – вскричал Бальтазар. – Сперва выслушай меня.

И он рассказал все, что знал о Циннобере, начиная с его первого появления у ворот Керепеса; что произошло с ним и с малышом в доме Моша Терпина и что только сейчас поведал Винченцо Сбюкка.

– Несомненно лишь, – добавил Бальтазар, – что во всех проделках этого окаянного уroda скрыто что-то таинственное, и поверь мне, друг Пульхер, если тут замешано какое-нибудь адское колдовство, то нужно только с твердостью ему воспротивиться. Победа несомненна там, где есть мужество. А посему не отчаивайся и не принимай поспешного решения. Давай сообща ополчимся на этого ведьмёныша.

– Ведьмёныш! – с жаром вскричал референдарий. – Да, ведьмёныш! Что этот карлик – проклятый ведьмёныш, – это несомненно! Однако ж, брат Бальтазар, что это с нами, неужто мы грезим? Колдовство, волшебные чары, – да разве с этим давным-давно не покончено? Разве много лет тому назад князь Пафнутий Великий не ввел просвещение и не изгнал из нашей страны все сумасбродные бесчинства и все непостижимое, а эта проклятая контрабанда все же сумела к нам вкрасться. Гром и молния! Об этом следует тотчас же донести полиции и таможенным приставам. Но нет, нет, только людское безумие или, как я опасаясь, неслыханный подкуп – причина наших несчастий. Проклятый Циннобер, должно быть, безмерно богат. Недавно он стоял перед монетным двором, и прохожие показывали на него пальцами и кричали: "Гляньте-ка на этого крохотного пригожего папахена! Ему принадлежит все золото, что там чеканят!"

– Полно, – возразил Бальтазар, – полно, друг референдарий, не золотом сильно это чудовище, тут замешано что-то другое. Правда, князь Пафнутий ввел просвещение на благо и на пользу своего народа и своих потомков, но у нас все же еще осталось кое-что чудесное и непостижимое. Я полагаю, что некоторые полезные чудеса сохранились для домашнего обихода. К примеру, из презренных семян все еще вырастают высочайшие, прекраснейшие деревья и даже разнообразнейшие плоды и злаки, коими мы набиваем себе утробу. Ведь дозволено же пестрым цветам и насекомым иметь лепестки и крылья, окрашенные в сверкающие цвета, и даже носить на них диковинные письмена, причем ни один человек не угадает, масло ли это, гуашь или акварель, и ни один бедняга каллиграф не сумеет прочитать эти затейливые готические завитушки, не говоря уже о том, чтобы их списать. Эх, референдарий, признаюсь тебе, в моей душе подчас творится нечто странное. Я кладу в сторону трубку и начинаю расхаживать взад и вперед по комнате, и какой-то непонятный голос шепчет мне, что я сам – чудо; волшебник микрокосмос хозяйничает во мне и понуждает меня ко всевозможным сумасбродствам. Но тогда, референдарий, я убегаю прочь, и созерцаю природу, и понимаю все, что говорят мне цветы и ручьи, и меня объемлет небесное блаженство!

– Ты в горячечном бреду! – вскричал Пульхер; но Бальтазар, не обращая на него внимания, простер руки вперед, словно охваченный пламенным томлением.

– Вслушайся, – воскликнул он, – вслушайся только, референдарий, какая небесная музыка заключена в ропоте вечернего ветра, наполняющем сейчас лес! Слышишь ли ты, как родники все громче возносят свою песню? Как кусты и цветы вторят им нежными голосами? Референдарий насторожился, стараясь расслышать музыку, о которой говорил Бальтазар.

– И впрямь, – сказал он, – и впрямь по лесу несутся прекраснейшие, чудеснейшие звуки, какие только доводилось мне слышать, они

Сказка загружена с сайта allskazki.ru для ознакомительных целей

глубоко западают в душу. Но это поет не вечерний ветер, не кусты и не цветы, скорее, сдается мне, кто-то вдалеке играет на колокольчиках стеклянной гармонике.

Пульхер был прав. Действительно, полные, все усиливающиеся и приближающиеся аккорды были подобны звукам стеклянной гармонике, но только неслыханной величины и силы, а когда друзья прошли немного дальше, им открылось зрелище столь волшебное, что они оцепенели от изумления и стали как вкопанные.

В небольшом отдалении по лесу медленно ехал человек, одетый почти совсем по-китайски. Только на голове у него был пышный берет с красивым плюмажем. Карета была подобна открытой раковине из сверкающего хрусталя, два больших колеса, казалось, были сделаны из того же вещества. Когда они вращались, возникали дивные звуки стеклянной гармонике, которую друзья слышали издали. Два белоснежных единорога в золотой упряжи везли карету; на месте кучера сидел серебристый китайский фазан, зажав в клюве золотые вожжи. На запятках поместился преогромный золотой жук, который помахивал мерцающими крыльями и, казалось, навевал прохладу на удивительного человека, сидевшего в раковине. Поравнявшись с друзьями, он приветливо им кивнул. В то же мгновение из сверкающего набалдашника, большой трости, что он держал в руке, вырвался луч и упал на Бальтазара, который в тот же миг почувствовал глубоко в груди жгучий укол, содрогнулся, и глухое "ах" слетело с его уст.

Незнакомец взглянул на него, улыбнулся и кивнул еще приветливее, чем в первый раз. Когда волшебная повозка скрылась в глухой чаще и только слышались еще нежные звуки гармонике, Бальтазар, вне себя от блаженства и восторга, бросился к своему другу на шею и воскликнул:

– Референдарий, мы спасены! Вот кто разрушит проклятые чары маленького Циннобера.

– Не знаю, – промолвил Пульхер, – не знаю, что со мною сейчас творится, во сне это все или наяву, но нет сомнения, что какое-то неведомое блаженство наполняет все мое существо и мою душу вновь посетили утешение и надежда.

[Читать дальше...](#)

Другие сказки Гофмана